А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ

Трагизм жизни и белая магия

I

В начале прошлого века в Германии жил талантливый человек по фамилии Гарденберг, писавший свои странные произведения под псевдонимом Novalis[1]. Он был *маг*.

В то время среди германской интеллигенции свирепствовал интересный психоз: плохо различали, где кончается действительность и где начинаются грезы. Германская действительность в то время была отвратительна, а жить как-нибудь надо было. Бороться с действительностью для горстки интеллигенции было невозможно; немецкий Михель спал непробудным сном. И вот германская интеллигенция, отданная на жертву бесплодным мечтам и умствованиям в четырех стенах, заболела. После наполеоновских войн, когда умерла вспыхнувшая было надежда, стало еще пошлее и будничнее вокруг, и болезнь приняла острый характер.

Мир старались сделать призраком, чтобы иметь право считать свои грезы равноправными с ним. Действительность нелепа — нравственный идеал прекрасен. Действительность реальна — нравственный идеал пока пустое слово? Так нет же! Фихте[2] не может допустить этого; героическим усилием ума он заставляет себя иначе смотреть на вещи: идеал реальнее самой действительности; действительность — сон, призрак, а идеал — скрытая сущность вселенной *.

---

* Гегель утверждал, что учение Фихте создано на основании субъективных потребностей и чувств и главным образом на основании чувства неудовлетворенности, недостатка и пустоты, страдания и тоски. Источником системы является «страстное стремление к свободе» (*Hegel.* Werke. I. Differenz des Fichteschen und Schellingschen System d. Phil.).

Став на такую точку зрения, даже Фихте, несмотря на всю страстную активность своей натуры, пришел к вере в абсолютный нравственный миропорядок, вере, совершенно дискредитировавшей в глазах германской интеллигенции опыт и реальную активность. Идеализм и романтизм быстрыми шагами шли к мистическому самоусыплению: все, чего жаждало сердце, объявлялось неосуществимым на земле (и подчас такая неосуществимость доказывалась с болезненной раздражительностью), но зато существующим в потустороннем мире. И конечно, эти два результата трудности осуществления идеалов — пессимизм по отношению к реальной жизни и мистический оптимизм — одинаково успокаивают и примиряют с будничной пошлостью и собственным бессилием.

Идеалистический романтизм был самозащитой, наростом, своего рода мозолью, которой душа отгораживалась от мира; но эта мозоль, почти необходимая в эпоху безвременья, впоследствии является препятствием. Когда весна на дворе, надо поскорее отбросить запоры, замазку, войлок, которыми мы защищались от стужи, сидя у камелька и слушая бабушкины сказки... Природа просыпается, просыпается и Михель и, по словам Энгельса, является наследником германской идеалистической философии [3]. Бабушкины сказки расходятся в головах людей, по полям и лесам и пытаются реализоваться.

Новалис был самым ярким представителем романтического идеализма, самым диковинным из оранжерейных зимних цветов. Он совершенно утерял способность отличать действительность от грез (по крайней мере, он с удовольствием и гордостью утверждал это). Бог, фантазируя, творит мир, человеческая фантазия тоже обладает творческою способностью, едва ли менее реальной. Наши желания могут реализоваться не только при помощи труда; что труд? — проза! (Немецкий интеллигент знал, что *трудиться над* осуществлением идеала — значит пробивать стену лбом). Нет, стоит лишь сильно пожелать, постулировать — и постулируемое окажется налицо.

Мир, по воззрению Новалиса, какая-то скатерть-самобранка: чего хочешь, того просишь... правда, вряд ли сыт будешь... Но голод Новалиса был не реальный, а духовный. Насытиться воображаемым бифштексом нельзя, но наслушаться воображаемых мелодий возможно. А ведь интеллигент был сыт. Тот же поэтический Новалис аккуратно получал казенный оклад, служа чиновником по управлению государственными рудниками. Часто, читая Новалиса, спрашиваешь себя: «Да полно, болезнь ли это, как, например, у Фихте, или он просто сладко морочит

и себя, и других?» Маг! Маг всегда нечто среднее между фокусником и волшебником, он зачастую и сам не знает, фокусничает он или творит чудеса, собственные фокусы водят его за нос.

Когда у нас потянуло весной, интеллигенция высыпала праздничной толпою на волю и весело загомонила на весенние темы. Но вот ударили легкие морозцы, и зябкие люди побежали опять к натопленным печам.. А дома, среди будничной обстановки, стало еще скучнее. И вот появились маги. Если весеннее солнце одержит победу над зимою, маги исчезнут. Если морозы будут крепчать, маги воцарятся *.

Пока что и они накрыли стол скатертью-самобранкой. И чего-чего только не напостулировали: тут и познание до всякого познания, которое могло бы существовать, если бы даже мира не существовало, тут и душа субстанциональная, и душа бессмертная, и нравственный миропорядок, и даже бог персональный!

Пируют новые разудалые Буслаевы за своею скатертью-самобранкой и зовут весь православный люд на почестей пир, а каждого приходящего ошарашивают по голове «палицей вязовой», тяжелой метафизикой, и если он не поморщится и желты кудри у него не шелохнутся, подносят ему чару зелена вина в полтора ведра и вводят в мир упоения, далекий от скучной действительности. Там можно летать и кувыркаться в эмпиреях, а в действительности и ходить-то небезопасно: еще Щедрин предупреждал, что, того и гляди, произойдет «юридическая ошибка» и попадешь в участок.

Российские маги, на наш взгляд, не заслуживают того сожаления, с каким невольно относишься к мистикам романтического периода в Германии... Но мы оставляем в стороне задачу общей их характеристики. На этот раз мы ограничимся лишь разбором одного типичного образчика магических рассуждений, а именно: статьи Бердяева [4] о трагизме жизни **.

II

Бердяев констатирует безысходный трагизм жизни. По его определению, сущность этого трагизма и заключается именно в «эмпирической безысходности», «Трагическая красота страда-

---

* Писано в 1902 году. Весеннее солнце восходит теперь все выше. Исчезнут ли маги? Быть может, нет! Быть может, они станут теперь служить кое-кому защитой уже не от стужи, а от летней жары? (*Прим. 1904 г.*) Это вполне оправдалось теперь, когда жаркое лето с его грозами пришло. (*Прим. 1923 г.*).

** Сборник «Литературное дело».

ющих» нравится Бердяеву так же сильно, как Булгакову — «больная совесть» *.

Булгаков тоже уверял, что в эмпирическом мире нет никаких средств против болезни совести, но не мог отказать себе в удовольствии сказать несколько «вульгарно-прогрессистских» фраз и вдруг заявил, что совесть будет болеть, лишь пока льются слезы обиженных. И Бердяеву ужасно хочется в одно и то же время уверить нас в безысходном трагизме жизни и в своей вере в прогресс и способности человеческого рода к бесконечному совершенствованию. Бердяеву хочется доказать, что разум все может, и вместе с тем, что он ничего не может. Пожалуй, кто-нибудь порекомендовал бы Бердяеву так формулировать его трагическую философию: «На земле счастье невозможно, зато в мечтах его сколько угодно; познать истину реальную разум не в состоянии, но выдумать дюжину метафизических систем вполне возможно» Нет, Бердяев не может согласиться на такую формулу. Он чувствует» что такая вера в прогресс и разум скорее похожа на отчаяние. И полюбуйтесь на «бесплодные усилия любви» Бердяева ко всем красивым фразам, брюнеткам и блондинкам, к тем, что полны трагического отчаяния, и к тем, ясный взор которых сияет надеждой.

«Прогресс человечества открывает перед нами бесконечность, — пишет Бердяев, — и тут трагизм всех человеческих стремлений находит себе исход»... Позвольте! А эмпирическая безысходность как же? Погодите, читатель! «Новым делом для грядущего человечества будет создание моста между царством божьим на земле, царством свободы и справедливости и царством небесным»... Вот как далеко завели нас надежды Бердяева: вы мечтали о царстве свободы и справедливости! — будет вам оно; однако не все «трагедии» прекратятся в этом царстве — мы построим еще мост в «царство небесное»!.. Вот как мы верим во всемогущество разума! Какие перспективы! Но неужели красивый плащ пессимиста, который так к лицу Бердяеву, окончательно забыт им ради виссона и пурпура? Нет! слушайте до конца: «Тем царством небесным, — заканчивает Бердяев, — о котором всегда будет тосковать дух человеческий».

Начал за здравие, а кончил за упокой! Моста-то, значит, мы и не достроим... или такой это будет мост, по которому ни проезду, ни проходу не будет. Так что же, все-таки всемогущ разум или нет? Является реальный прогресс «исходом» или нет? Нет, по мнению Бердяева; но нельзя о нем не поговорить,

---

* См. «Иван Карамазов как философский тип».

нельзя не ударить в старый, звучный, испытанный колокол; но, собственно, будет ли у нас мост, не будет ли его, а расстояние между землею и небом, по которому «тоскует человечество», будет вечно одно и то же.

«Трагическая красота страдающих и вечно недовольных, — учит Бердяев, — есть единственный достойный человека путь, ведущий к *блаженству праведных*». Стало быть, придем к блаженству? Ежели придем— давайте верить в разум, в созидающий труд и отпустим с миром метафизический идеализм, который нам понадобился лишь в силу нашей ошибочной уверенности в «эмпирической безысходности»; займемся лучше исканием эмпирических выходов из разных жизненных трагедий. Нет, Бердяев этого не позволит. Это он только так насчет блаженства праведных упомянул, ради красоты слога!

Согласитесь, читатель: указывать перстом на золотые дали грядущего, исповедовать веру в разум и реальный прогресс на земле, кончающийся среди сияния блаженства, — ведь это красиво?

Но глумиться над филистерами, воображающими, что трагизм жизни есть нечто преходящее, носить печаль сверхземного горя на челе, чутко видеть и слышать ужас существования, мимо которого проходят слепые, — ведь и это недурно?

А указавши на эмпирическую безысходность, с пафосом утверждать, что спиритуализм есть единственный выход, что перспективы вечности и бесконечности открывает перед жаждущим Фаустом только идеалистическая метафизика Бердяева, — разве не хорошо? И Бердяев меняет костюм, как мольеровский Жак [5], и договаривается до таких красот, перед которыми бледнеет сама «атеистическая теодицея» Булгакова [6].

Как вам нравится, читатель, такое утверждение: «Спиритуалистическая метафизика приведет... к высшему и окончательному оптимизму, *который предполагает негодование, тоску и печаль*»? Бердяеву не хочется огорчать человечество, ему хочется пообещать «окончательный оптимизм», но из боязни унизиться при этом до пошлого антитрагизма он обещает оптимизм, способный вызвать негодование, тоску и печаль. Все дело в том, что Бердяев несерьезно относится к своему трагизму. Серьезный человек, когда душа его полна негодованием, тоской и печалью, не может говорить об оптимизме, и, когда другой говорит о нем, ему стыдно за краснобая, — но наш милый ритор вполне способен на это. «Смотрите, — говорит он, — негодование, тоска, печаль вечно будут жить на земле; но возведите очи горе и посмотрите на бумажных змеев, которых мы

пускаем: как блестят! как трещат! — это и есть мост в царство небесное!».

К вульгарным прогрессистам Бердяев бывает иногда благосклонен. «Люди, интеллигентная душа которых мучается высшими запросами, — по собственному признанию Бердяева, — страдают дряблостью», вследствие чего он советует им сойтись с компанией «грубых борцов за свободу и справедливость на земле». Это испытанное средство против дряблости, по мнению Бердяева. А между *тем* и «грубым борцам» не помешает примесь интеллигентной дряблости, а то очень уж они грубы... никаких деликатных чувств понимать не могут! Ведь кому же не известно, что «социальная борьба отличается слабым пониманием идеальных целей» и связана с «рассудочно-практическою» верой в «гедонистический» (читай: желудочный) идеал.

Ужасно не везет русским интеллигентным душам по части знакомства с «учениками» *. У покойного Михайловского, например, такие знакомые «ученики» были, что просто ужас! Одни, пассивные, непротивление капиталистическому злу проповедовали; другие, активные, в адъютанты к рыцарям первоначального накопления поступить жаждали, а мужика приговорили к сварению в фабричном котле. Вот и Бердяеву не повезло по части знакомств: все лично знакомые ему представители «социальной борьбы» — сплошь гедонисты, люди практически-рассудочные, ничего, кроме удовлетворения первых потребностей, не желающие. Предполагаю, что это заключение Бердяев вывел из прискорбного подбора личных знакомств, так как в марксистской литературе так же мало можно вычитать о гедонизме в смысле Бердяева и об отказе от стремления к вечному совершенствованию человека, вечному росту его мощи, как и об активности или пассивности в смысле Михайловского.

Правда, и учителя, и ученики этого направления предоставляли утопистам рисовать картины будущего, а риторам восклицать и бряцать, а сами строили мост в царство свободы и справедливости, не картонный, не для виду только, а гранитный, предполагая, что лишь с построением моста и вводом человечества во владение «царством» окончится скорбный пролог и начнется история человечества.

Бердяеву и прочим магам хочется дискредитировать марксизм и доказать, что социальная борьба чужда понимания идеальных целей. И вот они подходят к строителям дворца и на-

---

* Т. е. с революционными марксистами, будущими коммунистами.

чинают выражать сомнения в возможности довести до конца это дело *.

III

Мы также считаем трагизм присущим человеческой жизни. Но рассуждения о нем Бердяева нас совершенно не удовлетворяют.

С одной стороны, трагизм жизни, по Бердяеву, есть нечто мучительное, вполне отрицательное, из чего надо искать выход, который Бердяев и думает найти в спиритуализме; с другой стороны, красота жизни тесно связана с трагизмом, а смерть трагизма была бы смертью красоты. Европейской культуре ставится в упрек, что она противоречит трагическому духу. Спиритуализм нравится Бердяеву, потому что он оставляет трагизм в целости и неприкосновенности, разрешая его лишь мнимо, одаряя нас каким-то оптимизмом, нимало не затрагивающим нашей тоски и печали.

Досаднее или забавнее всего, смотря по темпераменту, то, что Бердяев говорит вещи, которые при более тонком и глубоком понимании трагизма имели бы смысл. Вместе с Ницше мы думаем, что трагизм жизни находит примирение в самом себе, служит сам себе оправданием, что глубоко трагическое отношение к жизни может быть бодрым и даже радостным. Но Бердяев считает трагическим в жизни совсем не то, что в ней действительно трагично. Отсюда та масса недомыслия и противоречий, которую мы сейчас укажем.

Трагизм заключается в эмпирической безысходности, учит Бердяев. Но если бы и было средство покончить с трагизмом «эмпирически», Бердяев не согласился бы, так как трагизм есть красота жизни. Всякому разумному человеку понятно, что здесь лишь два выхода: либо трагизм есть зло, тогда надо приветствовать культуру, стремящуюся убить его, либо он есть благо, без которого жить было бы дурно, тогда зачем же вообще искать исход? Если спиритуализм ослабляет трагизм жизни, то не уменьшает ли он сумму красоты жизни? А если не ослабляет, то в каком же смысле называет его «выходом» Бердяев? Тут очевидная нелепость.

---

* См. рассуждения Булгакова о реформе общественного строя в его книге «Капитализм и земледелие» (СПб., 1900).

Произошла она от самого определения трагизма, определения пустого, взятого для удобства построения дальнейших софизмов. На наш взгляд, трагизм жизни заключается в противоречии между слепою стихийностью природы и чувствующей, сознательно-телеологической сущностью человека.

Человек стремится к самосохранению, к развитию, стремится к наслаждению, он оценивает явления как добро или зло со своей человеческой точки зрения, до которой природе нет дела, он творит идеалы, осуществление которых равносильно переработке природы, а между тем он сам является лишь хрупким, ничтожным существом, брошенным среди страшных и слепых волн океана бытия. Ananke[7], слепая необходимость, действует не только вне его, но и внутри его: мерцающему свету разума, нежным, едва распустившимся цветам высших чувств приходится обороняться против зверя в человеке, против живых врагов и против игры бесчувственной и сокрушающей гигантомании материального мира. Можно ли представить себе что-либо более трагичное, чем зрелище то угасающего, то вспыхивающего огонька сознания и целесообразности, затерянного среди мрака вселенной?

Чем полнее жизнь, чем тоньше организация индивидуума и общества, тем страшнее и болезненнее раны, которые наносит нам слепой враг, ибсеновский горбун, который везде, который даже внутри нас.

Но ослабить эту трагедию, примириться, отгородиться, отказаться от борьбы и завоеваний было бы ужасно, и позорна та культура, которая приводит к праздности, малодушной жажде покоя и изнеженному комфорту! Там же, где больше всего страданий, жертв, усилий, там ликует человеческий дух. Это так просто. Война есть зло и сопряжена со страданием, но раз она необходима—да здравствуют трагические радости войны, радость отваги, напряжение всех сил, радость побед, купленных несказанно тяжелою ценою! Так понимают трагизм марксисты.

Рассмотрим теперь те трагизмы, которые выставляет Бердяев, а потом противопоставим ему наше понимание трагизма.

«Основным трагизмом жизни является трагизм смерти. В человеческой душе живет жажда жизни, жажда бессмертия... Перед трагедией смерти позитивист останавливается и чувствует свою беспомощность... Старается взвинтить и приободрить себя фразами, которые зачастую являются посягательством на самую сущность духовной природы человека- Позитивисты чувствуют себя неловко перед лицом смерти и самые чуткие предпочитают хранить молчание».

Не знаешь, с чего начать!.. Восстановим прежде всего факты. Или Бердяев не знает, не помнит, как умели умирать «позитивисты»? Неужели ему не известно, что среди активных позитивистов, прежде всего среди революционеров, страх смерти считается чувством позорным, а люди, отличающиеся этим «трагическим» чувством, клеймятся названием трусов? Разве Бердяеву не известно, как «позитивисты» жертвовали своею жизнью и своими близкими? Мы говорим, конечно, о позитивистах активных, т. е. революционных марксистах. Но страх смерти не существует для материалиста благодаря высокому развитию социального чувства. Жить серой, вялой, бессмысленной жизнью — этого они действительно боятся. Страшно и горько, когда умирает юное и талантливое существо, которое могло бы так много дать для жизни, но в самом факте смертности людей нет ничего страшного и трагичного. Кто же не знает, что в битве храбрые люди меньше всего думают о смерти, которая висит над ними, но больше всего о победе армии? Раненый Эпаминонд осведомился, выиграна ли битва, — и умер спокойно[8]. Это так понятно для марксиста, но, быть может, для «умственного аристократа» с присущею ему, по словам Бердяева, «дряблостью» это совершенно непонятно и представляется даже варварской грубостью, «furia francese», как называли дряблые итальянцы бесстрашие французов перед ранами и смертью.

Страх смерти является естественным продуктом инстинкта самосохранения в соединении с ясным сознанием будущего. Та жажда бессмертия, о которой говорит Бердяев, есть именно животный инстинкт, совершенно необходимый для жизни в огромном большинстве случаев. Впрочем, и в мире животных он иногда парализуется другими инстинктами, например материнским, стадным... Когда инстинкты сталкиваются между собою в реальной жизни, то тот или другой исход определяется большим или меньшим развитием личных или общественных инстинктов; но в сознающем и рассуждающем уме человеческом самая возможность такого конфликта отражается в виде абстрактной этической проблемы. Равным образом противоположность между инстинктом самосохранения и сознанием неизбежности смерти приводит к проблеме метафизической. Значение этих проблем для жизни совершенно ничтожно. На деле они разрешаются действительными силами данной личности, и прийти в этом отношении к какому-нибудь теоретическому соглашению невозможно. Однако присутствие или отсутствие угнетающей мысли о неизбежности смерти определяется в гораз-

до большей степени активностью, чем альтруизмом данного человека. Активной личности, для которой жить—значит творить, принимать участие в социальном творчестве, странно слушать о долге и о самоотверженном альтруизме, так же странно, как если бы кто-нибудь стал ей доказывать необходимость и пользу принятия пищи, когда она чувствует голод; странны для нее и речи о смерти: такой человек просто не думает о ней, он полон мыслями о вещах долговечных, значительных и прекрасных, в созидании которых он принимает горячее участие. Бездействующий же, по преимуществу мыслящий человек — ненормален. Еще Аристотель знал, что назначение человека — деятельность, а не какое-либо спокойное состояние. Бездеятельная жизнь мстит за себя; достаточно нравственно отъединиться от людей и их культурной работы, чтобы в голову полезли самые неприятные мысли, которые кажутся смешными и чуждыми там, где кипит на солнце людская работа.

Вселенная ужасна по своему несоответствию с нашими чаяниями: можно бороться с нею, и в борьбе она не кажется страшной; но нельзя безнаказанно долго и неподвижно смотреть в ее безумные очи: от этого люди лезут в петлю или придумывают метафизическую систему.

Второй жизненный трагизм, по Бердяеву,— трагизм любви. Тут Бердяев сам себя побивает в самом существенном пункте. Если мы не ошибаемся, самым торжественным моментом этого трагизма является, по Бердяеву, конфликт между «монистической <...> конфликт изображен в драме Метерлинка[9] «Аглавена и Селизетта», где все три лица — обе героини и Мелеандр — любят друг друга, «но все-таки не могли бы жить счастливо, потому что *не настал еще час, когда человеческие существа могут соединяться таким образом*».

Выписав курсивом эту фразу, Бердяев, к совершенному нашему изумлению, разразился громозвучным славословием. «Это бессмертное место! Настоящее этическое и эстетическое откровение, за которое когда-нибудь Метерлинку воздвигнут памятник. Это красота будущего» и т. д. Бердяев, если это — красота будущего, стало быть, в будущем есть *эмпирический выход* из трагического конфликта? Если люди станут соединяться «таким образом», т. е. не будут считать позором и стыдом отступление от моногамии и научатся легко побеждать в себе ревность, то ведь это самый настоящий эмпирический выход из конфликта? Опять Бердяеву хочется рисовать золотые дали, и опять ради этого он сокрушает свое определение трагизма. Будьте уверены, что когда-нибудь Бердяев спохватится

и как он к оптимизму подбавил тоски и печали, как сделал негодным мост в царствие небесное, которое пообещал нам, так когда-нибудь он разъяснит, что вожделенный «час», собственно, никогда не придет или как-нибудь так придет, что в результате получатся лишь негодование и тоска.

Памятника Метерлинку мы строить не будем. Что за диво? Или Бердяев совсем незнаком с литературой тех «позитивистов», о которых он столько толкует и которые, по его словам, бессильны перед трагизмом любви? Этическое откровение Метерлинка в этой литературе давно стало общим местом! Мало ли говорилось о необходимости уничтожить или ослабить чувство ревности и дать любви свободу внутреннюю и внешнюю. Наконец, это откровение было известно еще... Софоклу![10]

В трагедии Софокла «Трахинянки» изображается тот же трагический конфликт, и поэт видит только один выход, достойный человека. Деянира говорит Лихасу, убеждая его открыть ей всю правду.

Не к низкой женщине ты слово обратишь
И не к неопытной: я знаю, дух мужей
Не может наслажденье находить всегда
В одном. Безумен тот, кто дерзостно
С Эросом, словно на кулачный бой, идет.
Эроса воля и богам дает закон.
И мною правит, и душой других людей;
И мужа было бы безумно порицать
За то, что овладело это зло и им.
Для женщины ж, что провинилась вместе с ним,
Вина ее бесчестием не явится,
Ни горем для меня...

И Лихас отвечает:

Как человечно мыслит светлый разум твой*.

Интересно, что, собственно, разумеет Бердяев под «монистической» тенденцией любви? Может быть, это «монизм» Калигулы[11], который хотел, чтобы человечество имело одну голову, дабы единым взмахом покончить с ним? Или это жажда встретить женщину, в которой, как говорят плохие поэты, воплотился бы идеал, и т. д.? Истинно художественные натуры находят обыкновенно, что реальные женщины достаточно хороши, чтобы любить их; более подвижные натуры любят много раз в жизни и, наверное, не променяют всей полноты разнообразной

* Софокл. «Трахинянки». *Перевод мой.*

действительности ни на какой идеал; натуры более глубокие украшают свою подругу своею любовью: даже недостатки милого лица становятся дороги, каждая черта становится понятной, красноречивой и любимой... Есть еще одна монистическая тенденция, частью привитая нам официально-моногамной формой нашей семьи, частью вытекающая из ревности, одного из сильнейших животных инстинктов. Борьба с тем и другим возможна, она ведется «грубыми борцами за свободу и справедливость» во имя свободной любви, в которой монизм и плюрализм будут вопросами темперамента и более или менее удачного выбора.

Интересно, однако, каким путем освободит Бердяева от его трагизма спиритуализм?

Вообще же все трагедии любви растут, словно плесень или поганые грибы, в затхлых местах; они редки и легко разрешаются там, где кипят работа и борьба.

Платон и Ницше, два антипода, одинаково приветствуют ту любовь, которая заключается во взаимной нежной поддержке, в общем страстном стремлении к идеалу, т. е. к растущей полноте индивидуальной и общественной жизни.

Отметим еще раз, что Бердяеву ужасно не везет в личных знакомствах: знал он мужей, довольных своими женами, видывал и жен, довольных мужьями, но все они были «по ту сторону любви» и от них так и разило мещанством!.. Не правда ли, ведь этакая неудача! А нам как раз там, где меньше всего мещанства, приходилось видеть такие гармонические сочетания... Правда, в большинстве случаев это были «грубые борцы», и они никогда не вели таких, по мнению Бердяева, непередаваемо-(?)прекрасных и необычайных разговоров, как следующий. «*Он*. Когда ты мне говоришь, я слышу впервые голос собственной души... *Она*. Я тоже, когда ты говоришь, я слышу собственную душу, и когда я молчу — я слышу твою душу... Я не могу уже найти моей души без того, чтобы не встретить твою. Я не могу больше искать твоей души без того, чтобы не найти мою. *Он*. Мы заключили в себе один и тот же мир. Бог ошибся, когда он сделал две души из нашей души», и т. д., и т. д.

Нам же казалось, что эти сентиментальные обноски карамзинской эпохи давно перешли по наследству старым девам заштатных городов.

Переходим к трагизму сознания.

«Наше стремление к абсолютной истине глубоко трагично и эмпирически безысходно», — говорит Бердяев.

Не пугайтесь, читатель, и не верьте Бердяеву — он шутит: философы-спиритуалисты легко находят исход; Бердяев жестоко ополчается против всякого агностицизма — стало быть, никакого трагизма для него и ему подобных не существует.. Трагедия остается лишь для эмпириков и позитивистов; между тем, по словам самого Бердяева, они не только склонны сознавать трагизм своего положения, но даже «чувствуют себя хозяевами и рекомендуют воздерживаться от вопросов, могущих парализовать довольство жизнью». Стало быть, ни спиритуалисты, ни позитивисты никакой трагедии не ощущают. Остается она, лишь для каких-то гибридов. Нетрудно объяснить, в чем заключается тот трагизм, который тщетно силится объяснить нам не продумавший собственных рассуждений Бердяев.

Познание всегда сводилось к двум методам: а) сведению разнообразного к единому и сложного к простому и б) объяснению неизвестного через известное. Вне «позитивизма» господствует второй метод, метод, по существу, не критический, наследие первобытных способов мышления.

Вообще ничего абсолютно известного нет и не может быть. Человек называет известным просто более привычное. Дикарь *объяснил* бурю дыханием, а удар молнии — выстрелом из лука, хотя мы знаем, что дыхание и выстрел — явления бесконечно более сложные, чем гром. Стремление объяснить все, сведя на язык обыденных человеческих отправлений, обыденной обстановки и собственных действий, вот «та основная метафора», по терминологии Макса Мюллера[12], отделаться от которой не может ни один метафизик. Но современная наука совершенно отказывается *объяснить* что-нибудь в этом смысле: она констатирует взаимозависимость явлений, стремясь определить ее возможно точнее; она старается свести сложные явления к простым и наглядным, а главное — к таким, которые поддавались бы точному измерению; отсюда — математически-механическая тенденция науки. Движение вовсе не признается чем-то более известным, но просто легко укладывающимся в точные формулы. Монистическая тенденция и математический метод суть необходимые эвристические принципы науки.

Материал науки — человеческий опыт во всем его объеме, но ничего кроме опыта; цель ее — возможность точно ориентироваться среди явлений и влиять на них; результат — культура, т. е. победа начала целесообразного творчества над стихийностью.

Но по мере того, как человечество убеждалось в невозможности абсолютного познания, т. е. сведения неизвестного к чему-

то *абсолютно известному, оно переживало мучительную трагедию.* Излечился от этой болезни лишь тот, кто возвысился до понимания культурно-исторического происхождения коренной ошибки, лежащей в основании идеи об абсолютном знании.

Представьте себе жреца, всю жизнь гадавшего по внутренностям животного: вдруг его убеждают, что все накопленные им знания — чепуха! Понятно, он затоскует... и его трудно утешить, он все будет повторять, что невозможно предугадывать будущее. Выхода для него только два: либо подняться до уровня того анатома, которому его исследования дают возможность заглянуть в глубь веков и предугадать дальнейшие изменения организмов и для которого невозможность предсказывать урожай по свиной селезенке вовсе не кажется трагичной, либо слепо и несмотря ни на что верить в свои предрассудки.

Спиритуалист предпочитает верить «и в сон, и в чох» и гадать на бобах и кофейной гуще. Впрочем, между старинной магией и метафизикой есть разница: наука, быть может, придет когда-нибудь к предугадыванию будущего — в этом есть человеческий смысл; но вопросы о вещах в себе и умопостигаемом мире так же похоронены, как вопросы о нравах инкубуса и истинной сущности эльфов. Те и другие влачат лишь призрачное существование в наиболее консервативных черепах, недоступных воздействию науки. Выходцы с того света бродят в темных и плохо проветриваемых помещениях.

О трагизме свободы Бердяев не умеет сказать ничего другого, кроме того, что трагизм этот приводит к тому же постулату бессмертия, так как жажда беспредельной свободы неразрывно связана у Бердяева с желанием сохранить навеки свою данную эмпирическую личность. Если бы Бердяев не страдал в такой мере узким индивидуализмом, если бы с ним можно было серьезно говорить в терминах развития человечества, то мы попросили бы его определить ту границу, где движение к свободе натолкнулось бы на непреодолимые эмпирические препятствия... Мы думаем, что не только нет таких границ, но само представление о свободе абсолютной и идеальной есть лишь термин для обозначения того горизонта, который расстилается перед человечеством снова и снова, вечно манящий... Но только не надо думать, что движение к нему вследствие этого бесцельно: человек становится все свободнее и прекраснее и вместе с тем растут его идеалы. Вспомните Лессинга[13], который поиски истины далеко предпочитал готовой истине. То же относится и к идеальной свободе. Но есть еще другая — элементарная, необходимая как воздух, и вот борьба за нее поистине

трагична: отсутствие ее не дает развиться тем силам, которые необходимы для ее достижения. Это борьба скованного человека, задыхающегося в подземелье. К счастью, этот трагизм не имеет ничего общего с эмпирической безысходностью.

IV

Мы очень далеки от того, чтобы изображать жизнь менее трагичной, чем она есть на деле или чем ее рисует нам Бердяев. Нет! напротив: нам кажется, что только человек, совершенно незнакомый с истинным трагизмом жизни, может считать нужным строить еще какие-то пугала, причем эстетически напомаженные, и потом сокрушать их своим метафизическим копьем.

Спиритуалистические теории часто утешали больных людей и больное человечество. Вместе с Марксом и Ницше мы думаем, что всякая вера в потусторонний мир есть результат такой жажды утешения. Бердяев очень неискусно изобразил трагизм жизни в виде своих четырех безысходностей, но суть всей его статьи заключается в стремлении пролить бальзам на раны страждущего человечества. В самом деле, раз спиритуализм откроет нам, что мы бессмертны,— куда денутся страх смерти и трагизм свободы? Раз Бердяев придумает красивую метафизику (если только придумает, а не преподнесет нам окрошку из дюжины немцев) — кто станет страдать трагизмом познания? Наконец, раз поэты-декаденты научат нас жиденькой и слащавой любви душ — куда денется страсть со всеми ее трагическими последствиями?

Что же касается материализма, то он не утешает. Он является организующим началом в жизненной борьбе. Нет сомнения, что унизительный, пассивный трагизм уменьшается в результате этой борьбы, цель которой — исцелить страдания болезней, нужды, рабства, страха, невежества, злобы. Но самое уменьшение этого «*проклятого трагизма*» может быть куплено лишь ростом трагизма активного, трагизма напряженной борьбы, зачастую сверх сил. Пройдут века, и все еще будут требоваться героические усилия, потому что человек будет становиться все требовательнее, тоньше, изысканнее и самый трагизм жизни — все возвышеннее и прекраснее. Доказывать, что жизнь трагична, — смешно! Она сама заботится о том, чтобы мы не забыли этого. Трагизм смерти и трагизм любви тесно слиты в один трагизм страшной беспомощности нашей перед

лицом стихий. Сама по себе смерть не страшна; еще Лукреций [14] указывал на то, что материализм кончает со страхом смерти — чувством, которое было доведено спиритуализмом до мук отчаяния, но смерть преждевременная, но страдания... Слышать крики боли любимого существа, видеть, как силы его ослабевают, и стоять тут рядом, и ничего не знать ничего не быть в состоянии сделать... Кто пережил нечто подобное (а кто же гарантирован от этого?), тот знает, что такое горе в жизни. Любовь увеличивает, так сказать, поверхность страдания, усиливает ужас перед жизнью, потому что нельзя не бояться за все эти дорогие, хрупкие существа, брошенные среди страшных наших врагов, среди всех ядов, всех бед природы и противоречий общества... Бесконечным источником трагедий является то, что среди режущих, размалывающих, терзающих, гложущих сил природы брошены наш мозг и наши нервы с их способностью страдать и болеть так разнообразно, невыразимо, невыносимо.

Схватка со злом! — Это единственный ответ на трагизм страдания.

Познание есть едва ли не самая важная арена этой схватки, и оно, разумеется, охвачено тем же стремлением заменить пассивный трагизм страха и покорности активным трагизмом борьбы.

Мы иначе верим в разум, чем Бердяев, который верит лишь в его способность выдумать спиритуалистический пластырь на раны человечества; но из того, что мы изгоняем из познания понятие абсолютной истины, отнюдь не следует, что область эта лишена своего трагизма. Станем ли мы страдать из-за недоступности абсолютов, когда мы почти ничего еще не знаем из самого необходимого, когда мы имеем лишь самые сбивчивые представления о составе и функциях нашего организма, когда сфинксы толпятся вокруг нас и задают страшные загадки, не решив которые, человечество может погибнуть? А кроме того, представьте себе ученого, который убедился, что не может с наличными средствами решить ту задачу, которой посвятил свою жизнь... Или такого, который вдруг убеждается, что целые годы, десятки лет шел по ложной дороге... Или такого, который в решительный момент своих трудов чувствует, как стынет его переутомленный мозг и силы падают неудержимо и безвозвратно... А те, которые, открыв истину, не умеют или не могут заставить ее выслушать, видят, как она осуждена на гибель и забвение до тех пор, пока через много лет ее, быть может, не откроет кто-нибудь более счастливый; а те, которые

открыли истину, разбившую все, во что они верили, всю святыню их души... Неисчерпаемы источники страданий познающего, и только тот, кто меньше всего их испытал, может толковать о призрачном трагизме.

Трагизм свободы... но... помолчим об этом *.

Марксизм и вытекающая из него революционная деятельность не утешают, это — знамя, оружие, это — боевая музыка. Выбывших из строя надо лечить, но у нас нет лекарств для больных жизнебоязнью, для тех, кто изнемог от первой царапины или потерял присутствие духа при одном взгляде на поле сражения. Оставьте этих больных! У них есть свои лазареты, и, право, они недурно там себя чувствуют. Но если из лазарета выйдет тот или другой больной, задрапированный в мантию учителя, и начнет приглашать под его кровлю бойцов, если он станет предлагать нам под разными соусами свои больничные микстуры и выдавать побасенки своей мистико-метафизической сиделки за самую истинную истину — посмеемся над ним и отправим его обратно. Бердяев тоже принадлежит лазарету. Посмотрите, какую большую бутылку спиритуалистического бальзама притащил он с собою. Бердяев тоже один из жаждущих дурмана и грезы, и он не обманет нас тем, что тщетно старается приладить марксистское седло к тощему хребту своей идеалистической коровы.

«Кто умеет чувствовать все прошлое человечества как свое прошлое, тот ощущает страшный итог всей озлобленности больных из-за потерянного здоровья, стариков, думающих о своих юношеских грезах, влюбленных, у которых отняли любимое существо, мучеников, погибших за свой идеал, героев в вечер дня битвы, ничего не решившей, не стоившей ран и потери друзей; но нести всю чудовищную тяжесть этой разнообразной скорби и злобы, быть в силах нести ее и оставаться героем и приветствовать зарю и свое счастье с началом нового дня битвы, быть человеком с горизонтом тысячелетий впереди и позади тебя, быть ответственным наследником благороднейшего из старинных родов и впитать все это в свою душу, древнее и новое, разочарования, надежды, завоевания, победы человечества, вместить все это в одну душу, в одно чувство — вот счастье, какого не знал до сих пор человек, счастье бога, полного сил и любви, полного слез и смеха... И это божественное чувство называется — *человечность*» **.

---

* Писалось в 1902 г. (*Прим. 1923 г.*).

** *Nietzsche*. Werke. Bd V. S. 260. *Перевод мой.*

Человечность — чувство трагическое по преимуществу и которому суждено расти. В нем вся трагедия человечества в просветленном виде. Иного трагизма мы не желаем, со всяким иным трагизмом боремся.

«Иметь тонкие чувства и тонкий вкус, привыкнуть к изысканнейшему и лучшему в духовном мире, как к обычной пище, наслаждаться сильной, смелой, дерзкой душой, идти сквозь жизнь со спокойным взором и твердым шагом, *быть готовым к самому крайнему напряжению сил, словно к празднику,* быть полным жажды новых морей и земель, новых людей и богов, прислушиваться ко всякой *веселой* музыке... и в минуту глубочайшего наслаждения почувствовать вдруг приступ слез и всей пурпурной тоски счастливого — кто не хотел бы быть таким?! Но с этим счастьем в душе человек бывает самым способным к страданию существом на земле» *.

Вот глубоко художественное изображение героического, активного, человечного трагического чувства! Что пред этим потуги Бердяева на красоту: трагизм Бердяева состоит из страха перед жизнью и философских суеверий.

А теперь несколько слов о трагизме Метерлинка.

V

Ницше учит при рассмотрении всякой философии, религии, морали или искусства спрашивать, что служит их источником: переполненная ли силой и жизнью душа или духовная скудость и жажда покоя? Эрнст Мах также отмечает расширение «я» и его робкое, испуганное сужение как в высшей степени характерные явления. Большое значение придает этим двум состояниям, или двум типам душевной жизни, и Геффдинг[15] в своей «Этике». Они были известны еще Аристотелю. Иногда душа обнимает собою весь мир и готова на подвиги; это, по терминологии Аристотеля, макропсихия; в другое время ей, наоборот, кажется, что все вокруг чуждо, страшно, все грозит ей; это — микропсихия. Макропсихия, доведенная до чрезмерности, приводит к мании величия, микропсихия — к меланхолии.

Трагедия эллинов, испанская, французская, шекспировская, шиллеровская — все это трагедии микропсихические. Чрезвычайно часто главным источником их является hybris, чрезмерное самомнение, ведущее к вызывающей дерзости и

---

* *Nietzsche.* Werke. Bd V. S. 231—232. *Перевод мой.*

грубому самовластию. Гибель великого и самонадеянного составляет содержание доброй половины трагедий. Школьное утверждение Бердяева, будто у Эсхила и Софокла сущность трагедии сводится к столкновению человека с роком, а у Шекспира к столкновению страсти с нравственным законом, не выдерживает критики. «Прометей», «Орестейя», «Антигона» и многие другие трагедии древних рисуют чисто нравственные конфликты. С другой стороны, какой нравственный закон попрали Ромео и Джульетта? Их гибель явилась результатом вины отцов и горестного стечения обстоятельств. В «Макбете» рок, так сказать, самолично является на сцену. Вот прекрасное определение трагедии, данное Аристотелем в его «Поэтике» [16]: «Трагедия есть подражательное изображение серьезных происшествий, законченное и написанное идеализированным языком, представленное в лицах, а не рассказанное; *ее целью является путем,* страха *и сострадания очистить душу от этих аффектов*».

Итак, серьезное действие, способное возбудить страх и сострадание. Аристотель, определяя точнее содержание трагедии, считает самым существенным моментом в ней «перипетию», т. е. переход от счастья и могущества к несчастью и слабости или от горя и опасности к победе и благоденствию*. Греки не боялись и второго рода трагедий, как это доказывают, например, чудная «Алкеста» Эврипида и драмы, касающиеся Ифигении [17]. Не боялся их и Шекспир. Стоит припомнить «Меру за меру» или «Венецианского купца». Но героическая борьба, исполненная напряжения сил, страсти и ужаса, необходимо присуща всем микропеихическим трагедиям без исключения.

Много говорилось об «очищении души» Аристотеля (katharsis), и ему давалось много истолкований. Мы думаем, что здесь констатируется несомненный и глубоко значительный психологический факт. Человек окружен опасностями, невзгодами и страданиями других людей, так что вечно придавлен ими: тревоги и опасения словно прахом покрывают душу; но после зрелища страшных несчастий, потрясающей катастрофы на душу нисходят удивительное спокойствие и жажда жизни: впечатление такое же, какое производит природа после сильной грозы. Рядом с взволновавшею нас великою борьбою обыденная жизнь *перестает* казаться страшною, страдания людей перестают так болезненно отражаться на нас, *мы больше готовы страдать.*

---

* Прекрасным примером, совмещающим обе перипетии, является трагедия Эврипида «Неистовый Геракл».

Аристотель ясно сознавал, что страх и сострадание — враги людей, что от них надо очищаться. В этом он совершенно сходится с Ницше. Трагедия Метерлинка* никоим образом не может иметь такого значения. Она пассивна. Это трагедия микропсихическая. Восторги Бердяева перед нею имеют большое симптоматическое значение. Трагедия обыденной жизни... трагедия будничная: это и есть то отвратительное, против чего должен бороться человек; поэтизировать же ее, объявлять неустранимой, видеть в ней красоту жизни — значит совершенно не понимать сущности трагического. По существу говоря, это — не трагедия, а элегия в драматической форме.

Мы отнюдь не отрицаем за Метерлинком огромного таланта. Декадентская поэзия второй половины XIX века дала высокие и прекрасные образцы пессимистического искусства, мы готовы наслаждаться и этими кладбищенскими цветами. Но принимать гг. декадентов за учителей жизни и толкователей столь близкого и родного нам трагического чувства — нет! это мы с благодарностью отклоняем.

Приведу несколько выписок из Метерлинка и пояснений к нему г. Бердяева.

«В н у т р и д о м а»: «Они нисколько не опасаются за себя: двери заперты, окна заделаны железными прутьями; стены старого дома они укрепили, а в дубовые двери вделаны засовы. Они не упустили из виду ничего, что можно предусмотреть». Слова эти, как добавляет Бердяев, полны глубокого символического значения: «*Вся материальная культура символизируется этими стенами, запертыми дверями, заделанными окнами*».

Заметьте это, читатель.

«В т и р у ш а»: «Все чувствуют какое-то странное беспокойство, присутствие чего-то постороннего и страшного. Малейший шум воспринимается особенным образом». Пьеса с изображением такого душевного состояния, по мнению Бердяева, *близка душе каждого человека.*

«С л е п ы е»: «Все, что происходит вокруг них, всякий шум, малейший шорох вызывает в слепых страшную тревогу, даже ужас. Плеск волн, шум ветра, полет птиц, падение листьев — все это воспринимается как что-то непонятное, странное и страшное».

И это, читатель, — изображение человечества! Бедный поэт, если только он искренен, бедные люди — его почитатели! Если

---

* Первого периода. Об эволюции этого писателя смотри статью в недавно переизданной моей «Этике». (*Прим. 1928 г.*).

они найдут себе утешение в спиритуалистической игрушке, не отнимайте ее у них. Они не умеют пользоваться материальной культурой; из мечей они делают засовы на двери и окна; они кутаются и дрожат: жизнь представляется им чем-то вроде сквозного ветра. Бедные люди!

Мы не можем подробно разбираться даже в упоминаемых Бердяевым драмах Метерлинка, но нас весьма интересует «философия истории», заключенная, по Бердяеву, в «Слепых». Эта философия страшно пессимистично-реакционна и в то же время лжива и нелепа. Припомните Возрождение или XVIII век: так ли чувствовало себя человечество, освободившись от своего поводыря, т. е. церкви? Что поводырь этот завел человечество в дебри леса —это верно, но час его смерти совпал с часом, когда слепые прозрели и сорвали с себя повязки, надетые на их глаза его же рукою. Для чего понадобилась Бердяеву эта пьеса, которой и он не может ни в каком случае сочувствовать? *

Видите ли, в конце пьесы среди ужасов леса и отчаяния несчастных слепых начинает плакать ребенок. Положим, и слепые дети тоже плачут. Но покинутые люди хватаются за эту соломинку: быть может, ребенок видит! Бердяев присоединяется к этому предположению и добавляет: «Спасения можно искать только в искусстве и красоте, которые, быть может, символизируются в ребенке». Но все же в этом сказывается несимпатичное Бердяеву пессимистическое отношение к разуму. Смелее, смелее, Бердяев! Мы знаем, что вы хотите сказать: слепое человечество бродит среди глухого леса, но уже растет зрячий ребенок, этот ребенок — спиритуалистическая метафизика, это «чудо-дитя» — сам Бердяев: он узрел, что мы слепы, что мы обретаемся в лесу «эмпирических безысходностей», и вот расхныкался на тему о трагизме жизни, но он подрастет, построит какие-нибудь метафизические турусы на колесах и повезет нас стезями спиритуализма к «блаженству праведных во царствие небесное».

Материалистов же покинет за грехи их во тьме кромешной, где будет плач и скрежет зубовный.

* Т. е. не мог в то время. Сейчас Бердяев превратился в мракобеса вроде Булгакова.